



УИЛЬЯМ

ФОЛКНЕР

КОГДА Я УМИРАЛА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Уильям Катберт Фолкнер

Когда я умирала

«ФТМ»

«Издательство АСТ»

1930

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Фолкнер У.

Когда я умирала / У. Фолкнер — «ФТМ», «Издательство АСТ»,
1930 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-102047-7

Роман, оказавший серьезное влияние на всю американскую литературу. Классика XX века. Глубокий Юг, каким видел, знал, любил и ненавидел его Фолкнер. Земля, где за тщательно побеленными фасадами старинных фермерских усадеб скрываются семейные тайны, кипят разрушительные страсти, ломаются судьбы и совершаются преступления... «Когда я умирала» – роман-одиссея о десяти днях жизни фермеров Бандренов, которые собрались на похороны матери семейства Адди. Уникальность произведения заключается в том, что в нем нет ни слова авторской речи. Весь сюжет представляет собой цепь монологов четырнадцати персонажей, среди которых и незабываемый монолог самой Адди... В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-102047-7

© Фолкнер У., 1930

© ФТМ, 1930

© Издательство АСТ, 1930

Содержание

ДАРЛ	6
КОРА	7
ДАРЛ	9
ДЖУЛ	11
ДАРЛ	12
КОРА	14
ДЮИ ДЭЛЛ	16
ТАЛЛ	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Уильям Фолкнер
Когда я умирала
Роман

William Faulkner

As I lay dying

© William Faulkner, 1930

© Перевод. В. Голышев, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

ДАРЛ

Мы с Джулом идем тропинкой через поле, друг за другом. Я впереди на пять шагов, но, если посмотреть от хлопкового сарая, видно будет, что растрепанная и мятая соломенная шляпа Джула – на голову выше моей.

Тропа пролегла прямо, как по шнуру, ногами выглаженная, июлем обожженная, словно кирпич, между зелеными рядами хлопка, к хлопковому сараю, огибает его, сломавшись четырьмя скругленными прямыми углами, и дальше теряется в поле, утоптанная и узкая.

Хлопковый сарай сложен из нетесаных бревен, замазка из швов давно выпала. Квадратный, с просевшей односкатной крышей, пустой, сквозной и ветхий, он клонится под солнцем, и оба широких окна его смотрят из супротивных стен на тропинку. Я сворачиваю перед сараем и огибаю его по тропинке. Джул сзади в пяти шагах, глядя прямо перед собой, вошел в окно. Он глядит прямо вперед, светлые глаза будто из дерева на деревянном лице, и, в четыре шага пройдя сарай насквозь, негнувшийся и важный, как деревянный индеец на табачном киоске, неживой выше пояса, выходит через другое окно на тропинку, как раз когда я выхожу из-за угла. Друг за другом в двух шагах, – только теперь он первым, – мы идем по тропинке к подножию обрыва.

Повозка Талла – у родника, привязана к перилам, вожжи захлестнуты за сиденье. В повозке два стула. Джул останавливается у родника, снимает с ивовой ветки тыкву и пьет. Я миную его и, поднимаясь по тропинке, слышу, как пилит Кеш.

Когда я выхожу наверх, он уже перестал пилить. Стоит в стружках и примеряет одну к другой две доски. Между тенями они желтые, как золото, мягкое золото, на них плавные ложбины от тесла: хороший плотник Кеш. Он опер обе доски на козлы, приставив к начатому гробу. Стал на колени и, прищуря один глаз, смотрит вдоль ребра, потом снимает доски и берет тесло. Хороший плотник. Лучшего гроба и пожелать бы себе не могла Адди Бандрен. Ей там будет спокойно и удобно. Я иду к дому, а вслед мне: тюк, – тесло Кеша. – Тюк. Тюк.

КОРА

Ну вот, подкопила яиц я и вчера испекла. Пироги удались на славу. Куры нам – большое подспорье. Они хорошо несутся – те, которых оставили нам опоссумы и прочие. Змеи еще, летом. Змея разорит курятник быстрее кого угодно. А раз обошлись они нам гораздо дороже, чем думал мистер Талл, и я обещала разницу покрыть за счет того, что они несутся лучше, мне приходилось яйца экономить, – ведь я же настояла на покупке. Мы могли бы взять кур подешевле, но мисс Лоуингтон советовала завести хорошую породу – я и пообещала, тем паче мистер Талл сам говорит, что коровы и свиньи хорошей породы в конце концов окупаются. А когда мы столько кур потеряли, самим пришлось от яиц отказаться, – не слушать же мне от мистера Талла попреки, что это я настояла на покупке. Тут мне мисс Лоуингтон сказала о пирогах, и я подумала, что могу испечь и зараз получить чистой выручки столько, сколько стоили бы еще две куры вдобавок к нашим. Если откладывать по яичку, то и яйца ничего не будут стоить. А в ту неделю они особенно неслись, и, кроме продажных, я и на пироги скопила, и сверх того столько, что и мука, и сахар, и дрова для плиты нам как бы даром достались.

Вот вчера я испекла – и уж так старалась, как ни разу в жизни, на славу пироги удались. Нынче утром привозим их в город, а мисс Лоуингтон говорит, что та дама передумала и гостей звать не будет.

– Все равно должна была взять, – говорит Кэт.

– Ну, – говорю, – на что они ей теперь?

– Должна была взять. – Кэт говорит. – Конечно, богатая городская дама, ей что? – захотела и передумала. Это бедным нельзя.

Богатство – ничто перед лицом Господа, потому что Он видит сердце.

– Может, в субботу на базаре продам, – говорю. – Пироги удались на славу.

– Можешь получить за них по два доллара, – говорит Кэт.

– Да они мне, можно сказать, ничего не стоили. Яйца я накопила и обменяла дюжину на муку и сахар. Так что пироги, можно сказать, ничего не стоили, и мистер Талл сам понимает: отложила я сверх того, что на продажу, – можно считать, нашли их или в подарок получили.

– Должна была взять пироги, – говорит Кэт, – ведь она все равно что слово тебе дала.

Господь видит сердце. Если так Он захотел, что у одних людей одно понятие о честности, а у других другое, то не мне Его волю оспаривать.

– Да на что они ей? – говорю. А пироги удались на славу.

Одеялом накрыта до подбородка, наружу только голова и руки. Она лежит на высокой подушке, чтобы смотреть в окно, и каждый раз, когда он берется за пилу или топор, мы его слышим. Да и оглохни, кажется, а взглянуть только на ее лицо – все равно услышишь его и почти что увидишь. Лицо у нее осунулось, кожа обтянула белые валики костей. Глаза истаявают, как два огарка в чашечках железных подсвечников. Но вечной благодати нет на ней.

– Пироги удались на славу. – Я говорю. – Но Адди пекла лучше.

А как девчонка стирает и гладит, – если это и вправду глаженое, – видно по ее наволочке. Может, хоть тут поймет свою слепоту – когда слегла и жива только заботами и милостями четверых мужчин и сорванца-девчонки.

– У нас тут никто не умеет печь, как Адди Бандрен, – говорю. – Оглянуться не успеем, как она встанет на ноги, примется печь, и тогда нашустряпню никому не сбудешь.

Бугорок от нее под одеялом не больше, чем от доски, и, если бы не шелест шелухи в матрасе, нипочем не догадаться, что дышит. Даже волосы у щеки и те не колыхнутся, хотя девчонка стоит прямо над ней и обмахивает веером. У нас на глазах, не переставая махать, поменяла руку.

– Уснула? – спрашивает Кэт.

– На Кеша смотреть не может, – говорит девчонка.

Слышим, как вгрызается в доску пила. С храпом. Юла повернулась на сундуке и смотрит в окно. Красивые на ней бусы и к красной шляпе идут. Не скажешь, что стоили всего двадцать пять центов.

– Должна была взять пироги, – говорит Кэт.

Деньги эти я бы с толком употребила. А пироги мне, кроме работы, можно считать, ничего не стоили. Скажу ему: промашка у каждого может случиться, но не каждый, скажу, выйдет после нее без убытка. Не все, скажу, могут съесть свои ошибки.

Кто-то идет по передней. Это Дарл. Прошел мимо двери, не заглянув, и скрывается в задней части дома. Юла смотрит на него, когда он проходит. Рука у нее поднялась, трогает бусы, потом волосы. Заметила, что я за ней наблюдаю, и сделала пустые глаза.

ДАРЛ

Папа и Вернон сидят на задней веранде. Оттянув двумя пальцами нижнюю губу, папа ссыпает за нее молотый табак с крышки табакерки. Они обернулись и смотрят на меня, а я перехожу веранду, опускаю тыкву в кадку с водой, пью.

– Где Джул? – спрашивает папа.

Еще мальчишкой я понял, насколько вкуснее вода, когда постоит в кедровой кадке. Прохладно-теплая и отдает жарким июльским ветром в кедровой роще.

Она должна постоять хотя бы часов шесть, и пить надо из тыквы. Из металла никогда не надо пить.

А ночью она еще вкусней. Я лежал на тюфяке в прихожей, ждал, и, когда они все засыпали, вставал и шел к кадушке. Кадушка черная, полка черная, гладь воды – круглый проем в ничем, и, пока не зарябилась от ковша, видишь звезду-другую в кадке и в ковше звезду-другую, пока не выпил. Потом я подрос, повзрослел. Ждал, чтобы уснули, и лежал, задрав подол рубашки, слышал, что спят, осязал себя, хотя не трогал себя, чувствовал, как веет прохладная тишь на мои члены, и думал: не занят ли этим же в темноте Кеш, не занялся ли этим года за два до того, как я захотел заняться.

У папы ноги растоптанные, пальцы кривые, корявые, гнутые, а мизинцы совсем без ногтей, – оттого что мальчишкой подолгу работал в сырых самодельных туфлях. Его башмаки стоят возле стула. Как будто вырублены из чугуна тупым топором. Вернон был в городе. Чтобы он поехал в город в комбинезоне, я ни разу не видел. Говорят: это все жена. Тоже была когда-то учительницей.

Я выплеснул опивки из ковша на землю и утерся рукавом. К утру дождь пойдет. А то еще и до ночи.

– В хлеву, – отвечаю. – Запрягает мулов.

С конем своим он возится. Пройдет через хлев на выгон. Коня не видно: он в сосновых посадках, в холодке. Джул свистит, пронзительно, один раз. Конь всхрапывает, и Джул видит его: мелькнул, весело лоснясь, среди синих теней. Джул опять свистит; конь ссыпается по склону, упираясь передними ногами; острыми ушами прыдет, разноцветными глазами водит – и остановился боком к Джулу, шагах в десяти, глядит на него через плечо, в игривой и настороженной позе.

– Давай-ка сюда, почтенный, – говорит Джул. И срывается с места. Стремительно: полы отлетели назад, треплются языками, как пламя. Развевая гриву и хвост, вскидываясь и кося глазом, конь отбегает недалеко и снова останавливается, собрав ноги; смотрит на Джула. Джул медленно идет к нему, не шевеля руками. Если бы не двигались ноги Джула, эти две фигуры на солнце – как живая картина.

Когда Джул подходит к коню почти вплотную, конь взвизгивает на дыбы и норовит ударить его копытами. Джул заключен в поблескивающий копытный лабиринт, словно обнят прозрачными крыльями; между ними, под закинутой грудью, он движется со взрывчатой гибкостью змеи. За миг до того, как рывок отдастся в его руках, он видит со стороны свое тело, вытянувшееся над землей в змеином всхлесте; поймал ноздри коня и снова стоит на земле. Застыли в неимоверном напряжении: конь будто пятится, и бедра его вздрагивают от натуги; Джул, вросший ногами в землю, душит коня, одной рукой захватив ноздри, а другой часто и ласково гладит его, осыпая грязной, яростной бранью.

Длится миг неимоверного напряжения; конь дрожит и стонет. Но вот Джул у него на спине. Сгорбясь, взвился в воздух, словно бич, и еще в полете приладил тело к коню. Мгновение конь стоит, расставив ноги, с опущенной головой, потом бросается вскачь. Джул высоко,

как пиявка на холке, а конь тяжелыми прыжками несется вниз по склону и, засеменив, останавливается перед изгородью.

– Ну, – говорит Джул, – хватит, если наигрался.

В хлеву Джул соскакивает на ходу. Конь входит в стойло, Джул за ним. Не оглянувшись, конь пробует лягнуть его, и копыто с пистолетным грохотом ударяет в стену. Джул пинает его в брюхо; конь, оскалась, поворачивает голову; Джул бьет его по морде кулаком, потом, проскользнув вперед, вскакивает на корыто. Держась за ясли, он опускает голову и смотрит поверх перегородок в дверь. На тропинке никого, отсюда не слышно даже пилы Кеша. Он тянется вверх, торопливо стаскивает охапками сено и наталкивает в ясли.

– Жри. Ну-ка живет подметай, гад толстопузый, пока не отняли. Сучёнок мой хороший, – говорит он.

ДЖУЛ

Все потому, что он торчит под самым окном, пилит, колотит по чертову ящику. У нее на глазах. И каждый вздох ее полон этого стука и ширканья, и все у нее на глазах, а он долбит ей: Видишь? Видишь, какой хороший тебе строю? Я ему сказал, чтобы перешел на другое место. Ты что, ей-богу, вколотить ее туда хочешь? – говорю. Вот так же раз, когда он был мальчишкой, она сказала: было бы удобрение, я цветы бы посадила, – а он взял хлебный противень и принес из хлева полный навозу.

И эти теперь расселись, как стервятники. Ждут, обмахиваются. Я сказал: ну что ты стучишь и пилишь, человеку уснуть невозможно, – а у нее руки на одеяле – будто выкопал кто два корешка, помыть хотел, да не отмываются. Вижу веер и руку Дюи Дэлл. Дай ей покой, говорю. Стучат, и пилят, и воздух над лицом гоняют, так что усталому человеку вдохнуть некогда, и тесло это чертово знай себе: Щепку долой. Щепку долой. Щепку долой, – чтобы каждый прохожий на дороге остановился, посмотрел и сказал: какой хороший плотник. Моя бы воля, когда Кеш упал с церкви или когда на отца воз дров свалился и он лежал хворал – моя бы воля, не было бы такого, чтобы каждая сволочь в округе приходила поглазеть на нее, потому что если есть Бог, то на кой тогда Он нужен. Были бы я и она, двое, на горе, и я бы камни катил им в морду, подбирал и бросал с горы, в морду, в зубы, куда попало, ей-богу, пока она не успокоилась бы и не стучало бы чертово тесло: Щепку долой. Щепку долой, и мы успокоимся.

ДАРЛ

Смотрим, как он огибает угол и поднимается по ступенькам. На нас не глядит.

– Готов? – спрашивает.

– Если ты запрят, – отвечаю. Говорю: – Погоди.

Стал, смотрит на папу. Вернон сплевывает, не шевелясь. Сплевывает с чинной неторопливостью, прицельно, в рябую пыль под верандой. Папа потирает колени. Глядит куда-то за обрыв, на равнину. Джул посмотрел на него еще немного, потом идет к ведру и снова пьет.

– Пуще всех не люблю нерешенного дела, – говорит папа.

– Это же три доллара, – говорю я.

Рубашка на горбу у папы выгорела сильнее, чем в других местах. Пота у него на рубашке нет. Ни разу не видел потного пятна у него на рубашке. Ему было двадцать два года, и он заболел оттого, что работал на солнце, а теперь объясняет всем, что если еще раз вспотеет – умрет. По-моему, сам в это верит.

– Но если она отойдет, до того как вернетесь, – говорит папа, – ей будет обидно.

Вернон сплевывает в пыль. А дождь к утру пойдет.

– Она рассчитывала на это, – говорит папа. – Она захочет ехать сразу. Я ее знаю. Я ей обещал, что упряжка будет на месте, и она на это рассчитывает.

– Три доллара нам тогда сильно пригодятся. – Я говорю.

Он глядит на равнину и потирает колени. С тех пор как у папы выпали зубы, он будто медленно жует губами, когда опускает голову. Из-за щетины он напоминает лицом старую собаку. Я говорю:

– Ты поскорей решай, чтобы мы до темноты туда успели и погрузились.

– Мама не такая плохая. – Джул говорит. – Не болтай, Дарл.

– В самом деле, – говорит Вернон. – Сегодня она больше на себя похожа – за всю неделю такой не была. Когда вы с Джулом вернетесь, она уж сидеть будет.

– Тебе лучше знать, – говорит Джул. – То и дело ходите, смотрите. То ты, то родня твоя.

Вернон смотрит на него. У Джула на румянном лице глаза будто из светлого дерева. Он на голову выше нас всех, всегда был выше. Я им говорю, что поэтому мама его и лупила больше и баловала. Потому что слонялся по дому больше всех. Потому, говорю, и Джулом ¹ назвала.

– Не болтай, Джул, – говорит папа, словно и не особенно прислушивался. Он глядит на равнину и потирает колени.

– Ты можешь одолжить упряжку у Вернона, а мы тебя догоним. – Я говорю. – Если она нас не дождется.

– Хватит ерунду-то болтать, – говорит Джул.

– Она захочет ехать на своей, – говорит папа. Он трет колени. – Пуще всех не люблю.

– Все потому, что лежит и смотрит, как Кеш стругает чертов... – говорит Джул. Говорит грубо, со злостью, но самого слова не произносит. Так мальчишка буянит в темноте, распаляет в себе храбрость, и вдруг затих, своего же шума испугался.

– Она сама этого хотела – и на повозке тоже на своей хочет, – говорит папа. – Ей покойней будет знать, что он хороший и притом свой. Она всегда была щепетильной женщиной. Сам знаешь.

– Свой так свой, – говорит Джул. – Только кто тебе сказал, что он... – Джул смотрит папе в затылок, и глаза у него будто из светлого дерева.

¹ [1] Jewel – драгоценность, сокровище (англ.).

– Да нет, – вступает Вернон, – она продержится, пока Кеш не кончит. Продержится, пока всё не приготовят, пока срок ей не придет. А дороги сейчас такие, что вы ее одним духом домчите.

– Дождь собирается, – говорит папа. – Я невезучий человек. Всю жизнь невезучий. – Он потирает колени. – Доктор того и гляди заявится, будь он неладен. Не мог я его раньше известить. Приехал бы назавтра, сказал, что срок подходит, – она бы ждать не стала. Я ее знаю. Есть повозка, нет повозки – ждать не стала бы. Тогда бы она огорчилась, а я ее огорчать не хочу ни за что на свете. Родные ее похоронены в Джефферсоне и ждут ее там, – понятно, ей будет невтерпёж. Я ей слово дал, что мы с ребятами доставим ее туда без проволочек, лишь бы мулы не подвели, – пускай не беспокоится. – Он потирает колени. – Не люблю нерешенного дела.

– Да что вам нейдет? – грубо, со злостью говорит Джул. – И Кеш круглый день у ней под окном пилит и стучит по...

– Она сама так хотела, – говорит папа. – Ни любви, ни жалости к ней у тебя нету. И не было никогда. Мы с ней ни у кого одалживаться не станем. Не одалживались сроду, и ей спокойней спать, когда знает это, знает, что ее родная кровь напилит доски и забьет гвозди. Она всегда за собой убирала.

– Три доллара ведь, – я говорю. – Ну, ехать нам или не ехать? – Папа потирает колени. – Завтра к вечеру вернемся.

– Ну... – говорит папа. Волосы торчат вбок, он смотрит на равнину и медленно переталкивает табак из-за щеки за щеку.

– Пошли, – говорит Джул. Спускается с веранды. Вернон аккуратно сплевывает в пыль.

– Только чтобы к вечеру, – говорит папа. – Я не хочу, чтобы она ждала.

Джул оглянулся и сворачивает за дом. Я иду в прихожую и до самой ее двери слышу голоса. Дом наш немного наклонился под гору, и сквозняк в прихожей дует всегда с подъемом. Бросишь перо у входа, его подхватит, вынесет к потолку, отгонит к черной двери, и там оно попадет в нисходящий ток; то же самое – с голосами. Войдешь в прихожую, и они будто над головой у тебя, в воздухе говорят.

КОРА

Никогда не видела такой душевности. Он словно чувствовал, что больше ее не увидит, что Анс Бандрен прогонит его от материнского смертного одра и на этом свете им больше не свидеться. Я всегда говорила, что Дарл не такой, как они. Что он один у них пошел в мать, один знает, что такое привязанность. Не чета Джулу, – а уж кого еще, кажется, она так трудно носила, так нежила и баловала и столько терпела от его скандального угрюмого характера, кто еще так изводил ее своим озорством – на ее бы месте я порола его почем зря. И не пришел к ней попрощаться. Не упустить бы лишние три доллара – а что мать не поцеловала напоследок, так Бог с ней. Бандрен до мозга костей, никого не любит, ни до кого дела нет – только смотрит, где бы чего урвать, да поменьше утруждаясь. Мистер Талл говорит, что Дарл просил их подождать. Чуть не на коленях, говорит, умолял не отсылать его, когда она в таком состоянии. Куда там – ведь Ансу с Джулом надо выручить три доллара. Кто знает Анса, ничего другого и ждать не мог, но подумать, что отступится Джул, любимый сын, ради которого она себя забывала столько лет... Меня не обманешь: мистер Талл говорит, что она любила Джула меньше всех, но я-то знаю. Знаю, любила больше всех – за то же самое, за что терпела Анса Бандрена, хотя его отравить бы стоило, как говорит мистер Талл, – и нате, из-за трех долларов не поцеловался с матерью напоследок.

А я последние три недели приходила при всякой возможности, да и когда не было ее, приходила, в ущерб своей семье и обязанностям, чтобы хоть кто-нибудь при ней побыл в последние минуты, хоть чье-нибудь знакомое лицо поддержало в ней дух перед лицом Великого Неведомого. Я не жду похвалы за это: я надеюсь, что и ко мне отнесутся так же. Но, слава Богу, это будут лица моих родных и любимых, моя плоть и кровь, потому что посчастливилось мне с мужем и детьми, как мало кому, хоть и тяжело с ними порой приходилось.

Одинокая женщина, одиноко жила, гордо, не показывала виду, скрывала, что ее только терпят, – ведь еще тело ее в гробу не остыло, а они уже повезли ее за сорок миль хоронить, презрев волю Божию. Не положили рядом со своими Бандренами.

– Она сама велела отвезти, – говорит мистер Талл. – Хотела лежать со своими родственниками.

– Так почему живая туда не поехала? – спрашиваю. – Никто бы ее не удерживал – вон и младший у них подрастает, скоро станет бессердечным эгоистом, как остальные.

– Она сама хотела. Анс при мне говорил.

– А ты и рад поверить. Похоже на тебя. Да брось.

– Поверю – тому, о чем промолчавши, он никакой выгоды от меня не получит.

– Да брось. – Я сказала. – Живая она или мертвая, место женщине – при муже и детях. Придет мой час, захочу я, по-твоему, уехать обратно в Алабаму, брошу тебя с дочерьми – если я уехала оттуда по своей воле, чтобы делить с тобой радость и горе до самой смерти и после?

– Ну, люди разные.

– Да уж, надо думать. Я старалась жить праведно перед Богом и людьми, к чести и утешению моего мужа-христианина и чтобы заслужить любовь и почтение моих детей-христиан. В смертный час я буду знать, что исполнила долг, и меня ждет награда, и окружать меня будут любящие лица, их последний поцелуй я унесу с собой. Не буду умирать одна, как Адди Бандрен, пряча свою гордость и разбитое сердце. Радоваться смерти. Лежать на подушках и смотреть, как Кеш строит гроб, следить, чтобы не сляпал наспех, чего доброго – ведь они только об одном волнуются: успеть бы еще три доллара выручить, пока дождь не зарядил, река не поднялась, пока можно на тот берег переправиться. Если бы не задумали везти последнюю подводку, так, чего доброго, перенесли бы ее на одеяле в повозку, переправили через реку и там бы стали ее смерти ждать, христиане.

А Дарл – нет. Никогда не видела такой душевности. Бывает, что я перестаю верить в людей, меня одолевают сомнения. Но всякий раз Господь оживляет во мне веру, показывает свою великую любовь к своей твари. Не Джул, хотя она с ним нянчилась. Нет, Дарл – тот, про кого говорят, что он чудной, что лентяй и слоняется без дела, как Анс, а вот, мол, Кеш у них хороший плотник – всегда за столько дел берется, что кончить ничего не может, а у Джула один интерес: как бы заработать да чтобы люди о нем говорили; а полуголая девчонка эта все стояла над Адди с веером и, если кто хотел с ней заговорить, подбодрить ее, сразу вместо нее отвечала, как будто не хотела людей к ней подпускать.

Нет. Дарл. Он подошел к двери, встал там и посмотрел на умирающую мать. Только посмотрел, и я опять почувствовала великую любовь Господню и Его милость.

Я поняла, что с Джулом она только притворялась, а по-настоящему любили и понимали друг друга – она и Дарл. Он только посмотрел на мать, но не зашел, чтобы она его не увидела и не расстроилась: он ведь знал, что Анс отсылает его, и больше им не свидеться. Не сказал ничего, только посмотрел.

– Чего тебе, Дарл? – спросила Дюи Дэлл, а сама веером машет и говорит быстро – даже его не хочет подпускать. Он не ответил. Стоял и смотрел на умирающую мать, говорить не мог от сильного чувства.

ДЮИ ДЭЛЛ

Первый раз мы с Лейфом собирали хлопок. Папа не потеет, потому что умрет, если опять заболит, и, кто приходит к нам, все помогают. А Джулу все трын-трава, наших забот знать не хочет, по заботе не родной. А Кеш будто распиливает долгие желтые грустные дни на доски и к чему-нибудь прибавляет. И папе дознаться некогда, занят тем, что соседей к работе приставляет вместо себя, потому что, думает, соседи так и должны всегда друг к другу относиться. Я думала, и Дарл вряд ли узнает – сидит за ужином, глаза глядят куда-то за еду и за лампу, в глазах полно земли, выкопанной из головы, а ямы заполнены далью, что дальше земли.

Мы шли по ряду, собирали, лес и укромная тень все ближе, собирали в мой мешок и в мешок Лейфа, все ближе к тени. Я сказала: соглашусь или не соглашусь – это когда мешок наполовину полон, а если к лесу станет полон, тогда уже не моя воля. Сказала: если нельзя мне, так мешок не будет к лесу полон, я поверну на новый ряд, а если полон будет, так воля не моя. Тогда я вроде как должна, и это не в моей воле. И мы собирали, шли к укромной тени, и глаза наши нет-нет да посмотрят в одну сторону, то на его руки, то на мои, а я ничего не говорила. «Что ты делаешь?» – я говорю, а он: «Собираю в твой мешок». И он стал полон к концу ряда, значит, воля не моя.

Ну и случилось, раз воля не моя. Там и случилось, а потом я увидела Дарла, и он знал. Сказал без слов: «Я знаю», – как теперь сказал без слов, что мама умрет, и я поняла, что он знает: если бы словами сказал: «Знаю», я бы не поверила, что он там был и видел. А он сказал, что не знает, и я сказала: «Папе хочешь доложить, убить его хочешь?» – без слов сказала, а он без слов сказал: «Зачем?» Вот почему я могу знаться с ним без слов и ненавидеть за то, что знает.

Стал в дверях и смотрит на маму.

– Чего тебе, Дарл? – Я спрашиваю.

– Она умрет. – Он говорит. И входит старый ворон Талл поглядеть, как она умирает, но их я могу обмануть.

– Когда она умрет? – Я спрашиваю.

– До того, как вернемся.

– Тогда зачем берешь Джула?

– Чтобы грузить помог.

ТАЛЛ

Анс потирает колени. Комбинезон на нем выгорел; на колене шерстяная заплатка из воскресных брюк, заносилась до железного блеска.

– Пуще всех не люблю, – говорит он.

– Человеку иногда надо вперед заглядывать, – говорю я. – А если не мудрить долго – что так, что этак, большого урона не будет.

– Она захочет ехать сразу. До Джефферсона и по хорошей погоде не близко.

– Дорога-то сейчас сухая. – Я говорю.

– Однако ночью дождь будет. Его родню хоронят у Новой Надежды – туда меньше трех миль. Но на то он и Анс, чтобы взять жену из такого места, докуда добрый день езды, и чтобы она умерла у него.

Он смотрит на равнину и потирает колени.

– Пуще всех не люблю.

– Они свободно обернутся. Тут и волноваться нечего.

– Три доллара как-никак, – говорит Анс.

– А может, им и назад будет не к спеху. Хочется так думать.

– Она отходит, – говорит Анс. – Она решила.

Тяжелая жизнь у женщин, верно. У некоторых. Моя мама, скажу, умерла на восьмом десятке. Работала каждый день, в дождь и в ведро, ни дня не хворала с тех пор, как родила последнего – а потом вроде огляделась вокруг, пошла, взяла ночную рубашку с кружевом, сорок пять лет пролежавшую в сундуке и ненадеванную, надела, легла на кровать, натянула одеяло и глаза закрыла. «Вам теперь за отцом ухаживать. – сказала. – Старайтесь. Устала я».

Анс потирает колени.

– Господь дал, – говорит он.

Слышим, как пилит и стучит за домом Кеш.

Правда. Истинней слова не молвил никто.

– Господь дал, – говорю я.

По склону поднимается их мальчик. Несет рыбу чуть ли не с себя ростом. Бросил на землю, крикнул, сплюнул в сторону, как взрослый. Чуть ли не с него, здорова.

– Это что? – говорю. – Кабан? Где поймал?

– Под мостом, – отвечает. Перевернул ее: на мокрый бок налипла пыль, глаз – как шишка, заклеен грязью.

– Так и будет здесь лежать? – спрашивает Анс.

– Маме показать хочу, – говорит Вардаман. Он смотрит на дверь. Ветер доносит до нас оттуда голоса. И стук Кеша. – У ней там гости, – говорит мальчик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.